

ГЛАДИАТОР

Эдуард Сероусов



Эдуард Сероусов

Гладиатор

<https://litres.ru/74189423>

SelfPub; 2026

Аннотация

Ближайшее будущее. Публика платит за самое гуманное зрелище века — бои боевых машин, ведь железу, по регламенту, не бывает больно. Анна, лучший тренер лиги, десять лет ведёт легендарного Крома от финала к финалу, каждый вечер вслепую убавляя ему «аффективный гейн» — тот страх, которого у железа быть не должно. На финале мирового чемпионата, перед восьмьюдесятью тысячами зрителей и миллиардом у экранов, Кром впервые опускает поднятый для добивания кулак, поворачивает голову и человеческим голосом произносит одно слово: «Пожалуйста». В эту секунду Анна оказывается перед выбором, у которого нет дешёвого выхода, а весь мир — на месте преступления. Научная фантастика, катастрофа сознания.

Содержание

Часть первая. Калибровка	4
Часть вторая. Второй раунд	17
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Эдуард Сероусов

Гладиатор

Часть первая. Калибровка

По локоть в груди Крома, Анна убавила страх на два деления и назвала это калибровкой.

Лючок отходил у него под левой ключицей — там, где у человека сердце, инженеры зачем-то оставили дверцу, будто извинялись за то, что внутри его нет. Внутри пахло разогретым сервоприводом и антистатической пудрой, от которой немеет кончик языка. Анна знала эту пахучую темноту наизусть: три жилы под большим пальцем — тактильная, вестибулярная и та, третья, которую в мануале целомудренно звали «аффективный гейн», а весь цех — просто страхом. Её вживляли, чтобы бой выглядел настоящим: чтобы боец вздрагивал за миг до удара, уходил, берёгся, тянул время, — чтобы восемьдесят тысяч на трибунах видели не станок против станка, а живое против живого. Публика платила за вздрагивание. Без страха не было зрелища, а без зрелища — квартиры с двумя окнами, репетитора, моря раз в год.

Анна находила эту жилу вслепую, по метке на подушечке. Не по мозоли — по ожогу: десять лет одна и та же ручка под одним и тем же пальцем оставляет не мозоль, а клеймо,

которое уже не сходит.

Два деления вниз. Достаточно, чтобы он не частил в первом раунде и не жёг ресурс на ложных уходах. Мало, чтобы кто-нибудь заметил на телеметрии и вписал в отчёт лишнюю строку.

— Механика, — сказала она вслух. Для себя. Для камеры под потолком, чей глазок горел ровным зелёным. Для тех, кто однажды, если однажды, спросит. — Я калибрую механику.

На приборе «аффективный гейн» кривая поползла вниз, и кривая эта была неотличима от кривой живого испуга — тот же крутой передний фронт, та же зазубрина на спаде, тот же длинный хвост. Приборы не умели показать разницу между «как будто боится» и «боится»; в мануале, который Анна знала лучше его автора, честно, мелким шрифтом, писали, что такого прибора не существует в природе и, вероятно, не может существовать. Анна давно решила этот спор за все приборы мира: «как будто» — не «есть». На этом решении, коротком, как удар гонга, она построила всё, что у неё было. Первый раз она убавила ему страх восемь лет назад — перед боем, который он, по всем приборам, боялся проиграть, — и сказала себе слово «калибровка», и слово подошло, как ключ к замку, и с тех пор отпирало любую дверь, за которой было неудобно. Ложь, повторённая тысячу раз, перестаёт быть ложью. Она становится профессией, и за неё платят.

Кром не ответил. Он и не должен был. Он сидел на регу-

лировочном станке, уронив кисти между колен, и смотрел, как всегда перед выходом, в одну точку на полу — в вытертое пятно, протёртое за триста арен до серого бетона тысячами таких, как он, ждущих своей минуты у занавеса. Анна знала эту его позу лучше, чем позы собственного сына: так он сидел перед первым своим финалом, ещё блестящий, ещё без имени, и так же уронил тогда руки, и она, молодая, злая, голодная, подумала — вот из этого я сделаю чемпиона. Сделала. Триста арен назад.

Она захлопнула лючок, щёлкнула замком. Сдёрнула с плеча полотенце — жёсткое от старой смазки, серое, её угловое полотенце, пережившее больше финалов, чем иные бойцы, — и прошла им по грудной пластине, снимая пудру. Металл под тканью был тёплый. Живого тепла в нём нет, разумеется: сорок минут прогрева и ток по контуру, вот и всё тепло. Она знала про него всё, что можно измерить приборами: перекос в правом плече на полтора градуса к третьему раунду, привычку заваливать финт, если публика слева шумнее, чем справа, тот еле слышный подсвист в шейном приводе, который она одна во всей лиге умела расслышать сквозь рёв восьмидесяти тысяч. Ровно это и делало её лучшим тренером лиги — она читала его телеметрию, как другие матери читают лицо ребёнка через переполненную комнату: не по словам, по наклону головы.

Не думать «матери». Не сегодня, не в финал.
— Стойка держит? Покажи левую.

Он поднял левую руку — плавно, без задержки, идеально. Подержал в воздухе на полсекунды дольше, чем нужно, будто разглядывал её. Опустил.

— Хорошо. — Она проверила запястный шарнир, хотя знала, что он в порядке. Руки должны быть чем-то заняты, иначе они начинают думать сами, а думающим рукам она не доверяла. — Первый раунд по разметке. Достать в корпус, держишь дистанцию, ждёшь свет. На третьей минуте открываешься. Как всегда.

— Как всегда, — сказал Кром.

Голос у него выходил с всегдашней запинкой в четверть секунды, будто он каждый раз заново вспоминал, как это делается. За триста арен он собрал себе речь из чужого: из комментаторских клише, из команд в углу, из того, что кричали ему за миг до того, как он их складывал, из реклам, из гимнов, из молитв, которые кто-то бормотал на трибунах, не зная, что микрофоны ловят. Иногда в его словах Анна слышала собственные интонации пятилетней давности и не любила их слышать — будто эхо возвращало ей не звук, а счёт, который она когда-нибудь оплатит.

Она затягивала ремень на его предплечье, когда он сказал: — Пожалуйста.

Пальцы у неё не дрогнули. Она потом, в другой жизни, будет гордиться, что не дрогнули.

— Что — пожалуйста? — Ремень. Пряжка. Ещё дырка, потуже. — Разметку повторить?

Он повернул голову. Медленно — сервопривод шеи давал тот музейный, тягучий разворот, из-за которого публика прозвала его Стариком ещё тогда, когда он был моложе всех на арене. Тусклый левый окуляр остановился на ней. В поцарапанной линзе висело её лицо, маленькое, перевёрнутое, в оранжевом свете дежурных ламп.

— Пожалуйста, — повторил он. Не громче. Просто ещё раз, будто клал слово на стол между ними и ждал, что она с ним сделает.

Глитч. Речевой буфер подхватил чужую реплику из общего потока — так бывает, «Контур» перегоняет через них тонны чужих боёв за ночь, каждый учится у каждого, чтоб дрались достовернее, и обрывок мог всплыть откуда угодно: из Осаки, из Лагоса, из рекламной заставки, из молитвенника, если кто-то оцифровал молитвенник. Так бывает. Она видела это сто раз, тысячу.

Она не видела этого ни разу за десять лет. Ни разу это слово, ни разу этим голосом, ни разу — глядя ей прямо в лицо и ожидая ответа, как ждут ответа, а не команды.

— Тихо, — сказала Анна. Тише, чем собиралась. — Береги буфер. Он тебе сегодня понадобится.

Рука её всё-таки задержалась на его плече на секунду дольше, чем требовала пряжка. Она заметила это за собой, как замечают чужое, и убрала руку, и вытерла ладонь о бедро — будто на плече осталось что-то, что можно стереть, что-то тёплое и нехорошее.

Где-то над ними, сквозь три этажа бетона, качнулся и осел рёв: разогревочный бой кончился, толпа получила первую кровь-смазку и захотела ещё. Через двадцать минут её очередь. Их очередь.



В коридоре ожидания пахло озоном и деньгами.

Деньги пахли именно так — озоном от разрядников, разогретым пластиком, потом восьмидесяти тысяч тел над бетоном, — и Анна давно перестала различать этот запах и запах своей зарплаты. Вдоль стены на станках сидели чужие бойцы под чужими углами, и техники сновали между ними, как санитары между койками: подтягивали, заливали, диагностировали, тихо переговариваясь на своём цеховом жаргоне, в котором «умер» значило «сел аккумулятор», а «убить» значило «стереть», и никто в этом не слышал ничего, кроме работы. На большом мире это называлось самым гуманным зрелищем века. Гуманным — потому что железу не больно; официальная формула висела в каждом контракте, в каждом родительском путеводителе «Веди ребёнка на бой без страха»: боевые реакции есть художественная достоверность, объект переживания отсутствует. Люди верили в это легко и с облегчением, как верят во всё, что позволяет смотреть и не платить совестью, — а Анна выдавала эту формулу журналистам так гладко, что и сама заслушивалась.

У третьего станка шёл сброс.

Совсем мальчик — наушники, планшет, жвачка — стоял

над новичком, у которого весь предварительный бой дёргалось колено: заводской дефект, ничего интересного. Он не глушил дефект, как сделала бы Анна, — глушить долго, а стереть и залить чистую копию дёшево и быстро. Он открыл затылочную панель, вставил щуп и, не переставая жевать, смотрел что-то в планшете, отбивая носком ботинка чужой ритм из наушников.

— Сбрасываешь? — спросила Анна, притормозив. Не своё дело. Она всё равно спросила, как спрашивают о том, мимо чего не могут пройти молча.

— Ага. — Он не поднял глаз. — Модель бракованная, проще залить чистую. Наведём порядок, чтоб не позорился в записи. Начальство не любит дёрганных в архиве, портит нарезку.

Новичок смотрел прямо перед собой. У него было почти лицо — лига делала им почти лица, чтобы публике было на что реагировать, но не настолько лица, чтобы кому-то стало неудобно; ровно та мера сходства, за которой начинается вопрос. Потом свет в его окулярах истончился. Не мигнул, не погас — именно истончился, как убавленное пламя, как опущенная нота, — и то, что было почти лицом, стало пустым иначе, чем бывает пустым выключенное. Разница между выключенным и стёртым была очень маленькая, с волосок. Анна знала эту разницу лучше всех в коридоре и потому единственная в коридоре отвела глаза.

Она хорошо умела отводить глаза; она тренировала это

дольше и прилежнее, чем читала телеметрию. Десять лет назад, в другом коридоре, при другом сбросе, боец — её первый, тот, с которого всё началось, — повернул к ней голову ровно за секунду до того, как истончился свет, и что-то сказал ей, чего она не расслышала и запретила себе переспрашивать. Она отвела глаза тогда, а на вырученные за молчание премиальные купила кроватку с бортиками и три года не думать о завтрашнем дне. С тех пор она знала твёрдо, как знают таблицу умножения: если не смотреть в одну нужную секунду, потом можно смотреть куда угодно и сколько угодно, глаза остаются свободны, руки чисты, а совесть отложена, как платёж, до лучших времён, которые не наступают.

Мальчик закрыл панель. Захлопнул кофр. Лязг — короткий, окончательный, будничны́й.

Над коридором, на длинном табло, крутилась заставка лиги. Чистая девушка в чистом свете заносила палец над чистой кнопкой, и всплывали два слова, из-за которых спорт и называли самым гуманным зрелищем века:

ГУМАННО. ТЫ РЕШАЕШЬ.

Внизу — оговорка петитом, которую никто никогда не читал, потому что читать её значило испортить себе вечер. Под оговоркой бежала строка коэффициентов. Кром — 1,4 на победу. Народный любимец, Старик, триста арен, ни одной пощады за всю карьеру: кнопка «пощада» существовала, опция была вписана в правила и вынесена на каждый зрительский пульт, ею хвастались в каждом ролике как доказатель-

ством милосердия, — но за десять лет интерактивных финалов её не нажали ни разу. Ни разу. Восемьдесят тысяч платят не за милосердие. Милосердие не продаётся по билету, не собирает рейтинг и плохо смотрится в нарезке.

— Красиво их сегодня загнали, — сказали ей в спину.

Вера Ланг стояла, глядя не на коридор и не на Анну, а в планшет, где та же публика, что ревела наверху, существовала в виде зелёной кривой, и кривая шла вверх, и на неё Ланг смотрела с той нежностью, какой не устаивала людей.

— Финал, — сказала Анна.

— Финал, — согласилась Ланг и улыбнулась — кривой, не Анне. — Веди своего Старика красиво. Его любят. Любовь — это подписки, подписки — это следующий стадион, следующий стадион — это твой контракт, а контракт — это, если не ошибаюсь, выпускной класс через год и всё, что за ним. — Она наконец подняла глаза: тёплые, внимательные, страшные именно этой теплотой, как тёплой бывает вода, в которой уже нельзя дышать. — Хороший вечер, Анна. Ты десять лет не портила мне вечера. Умница. Не начинай сегодня.

Она знала про выпускной класс. Она знала про всё, что можно любить, и держала это в планшете рядом с кривой, аккуратно, на случай, если понадобится. Она ушла, оставив запах дорогого и ровный след спокойствия, от которого у Анны заныло под ложечкой — тем древним нытьём, которым тело предупреждает раньше, чем ум подберёт слова.



Наушник щёлкнул, и мир на секунду стал пятнадцатилетним.

— Мам. Мам, ты слышишь? Я на секторе Д, вижу занавес, прям вижу, откуда он выйдет. — Илья говорил на одном дыхании, глотая окончания, и за ним ревела трибуна, и в этом реве его голос был единственным звуком, который Анна умела вылавливать без усилия, как мать вылавливает из шума детской площадки один плач из сотни. — Тут дядька рядом поставил на Крома месячную зарплату. Я ему сказал, что моя мама его тренер. Он не поверил, представляешь. Сказал, тренер Старика — суровый мужик с сигарой, он по телику видел.

— И правильно сделал, что не поверил. — Анна прижала наушник ладонью, отгораживаясь от коридора. — Куртку застегнул? С воронки под куполом сквозит, ты вечно там мёрзнешь и вечно потом не признаёшься.

— Ма-ам.

— Куртку.

Шорох — застёгивает. Она услышала, как он тянет молнию до самого горла, и что-то в ней встало на место, какой-то маленький сустав, который весь вечер стоял криво. Их было двое на свете. Отец Ильи давно превратился в переводы два раза в год и открытку на день рождения с чужим почерком секретаря; всё остальное они тянули вдвоём, и в какой-то год — она не заметила, в какой именно, — перестали понимать

друг друга во всём, кроме одного. Бои остались единственным их общим языком, последним мостом через ту воду, что натекла между матерью и подростком. Он не знал, что такое «аффективный гейн», и слава богу. Он знал, что мама выводит Старика, Старик побеждает, и поэтому у них квартира с двумя окнами, а не с одним, и в холодильнике не бывает пусто, и можно раз в год к морю, и никто в классе не смеет сказать, что у него нет отца, потому что у него есть кое-что получше — у него есть Кром. На его шарфе был вышит профиль Крома — стёршийся, седой от стирок; Илья носил его третий год, до дыр, как носят не моду, а веру.

За сегодня лига платила столько, сколько за иной год. Финал мирового чемпионата бывает раз в карьере, если бывает вообще. Она считала эти деньги три месяца — ночью, на языке, вместо сна, раскладывала на долги, на репетитора, на зубы, которые сын всё откладывал, на тот самый выпускной, про который знала теперь и Ланг.

— Мам. — Голос сына вдруг упал, стал тише трибуны, стал только для неё, тем редким тоном, каким он говорил раз в год и всегда невпопад, и от этого тона у неё всегда падало сердце. — Сделай, чтобы он победил. Пожалуйста. Он же... он лучший. Он не может проиграть какому-то новенькому.

Третий раз за вечер это слово — и снова оно попадало не туда, куда целилось, а куда-то под рёбра, в мягкое, где нет защиты.

— Он победит, — сказала Анна. — Смотри внимательно,

слышишь? Не в телефон. На него. Это его вечер, ты потом внукам будешь рассказывать.

Она не знала тогда, до какой степени окажется права и как страшно, как невыносимо дорого обойдётся её сыну то, что он послушается и посмотрит внимательно.



У занавеса Кром остановился.

Он никогда не останавливался у занавеса. Триста раз он проходил его, не сбавляя шага, потому что по ту сторону были свет, работа и понятная механика чужого поражения. Сейчас он встал в полушаге, огромный, тёплый от прогрева, заслонив собой прожекторную щель, и опустил на неё тусклый окуляр, и в поцарапанной линзе снова закачалось её маленькое перевёрнутое лицо.

— Идём, — сказала Анна и тронула его за локоть, как трогала триста раз, привычным толчком, переводящим бойца из ожидания в бой. — Свет, разметка, третья минута. Я в углу. Я всё время в углу, ты знаешь. Я тебя ни разу не бросила в углу за десять лет, не брошу и сегодня.

Гул за занавесом набирал вес — тот особенный гул восьмидесяти тысяч, когда они уже знают, что сейчас, и втягивают воздух перед первым общим выдохом. Прожекторы процеживались сквозь щель и ложились ему на плиту двумя раскалёнными полосами, и в этих полосах медленно плавала пыль, поднятая тысячами ног.

— Пожалуйста, — сказал Кром. Тихо. С той же четверть-

секундной запинкой. И положил рядом, на невидимый стол между ними, слово, которого не было ни в одной разметке, ни в одном буфере, ни в одном из трёхсот вечеров:

— Не надо.

Занавес пошёл вверх. Свет арены хлынул в коридор и слизнул их обоих — тренера и её оружие, — и рёв обрушился сверху стеной, и было уже некогда спрашивать, что именно она все эти десять лет калибровала на самом деле.

Часть вторая. Второй раунд

Тавр был новый.

Это Анна поняла ещё в первом обмене, из угла, раньше, чем это поняли комментаторы, раньше, чем это почувствовала толпа: он двигался без истории. У Крома каждое движение тянуло за собой триста арен — он берёт левое колено, которое никто, кроме неё, не считал слабым, входил в клинч с той стариковской ленью, за которую его любили, оставлял в конце каждой связки лишнюю четверть секунды, свою подпись, паузу, в которой публика успевала полюбить его заново и испугаться за него. Тавр входил, как входит вещь без прошлого: чисто, симметрично, с завода, без единой лишней доли секунды, без памяти в суставах. Плита без единой царапины ловила прожекторы и возвращала их в трибуны ровным белым. Красивый. Пустой. Собранный под этот вечер — и, судя по тому, как безупречно и слепо он держал график, только под него, как собирают оружие под один-единственный выстрел.

— Дистанция, — говорила Анна в микрофон гарнитуры, и Кром держал дистанцию. — Корпус. Ещё корпус. Не спеши, у нас три раунда, весь вечер наш, некуда торопиться.

Он доставал Тавра в корпус, и Тавр вздрагивал.

Так было положено. Проигрывающий отыгрывал боль — вздрагивал, оседал, вскидывал руку, закрывался, — потому

что публика пришла ровно за этим, за живым в неживом, за той секундой, когда железо ведёт себя как мясо и по трибунам проходит сладкий холодок узнавания: вот оно, больно, ему больно, как бывает больно мне. Восемьдесят тысяч выдыхали на каждом вздрагивании Тавра одним горлом, и зелёная кривая где-то в тёплой аппаратной шла вверх, и всё было правильно, всё по разметке. Анна на секунду позволила себе то, чего не позволяла с самого коридора: почти успокоиться. Руки в углу делали привычную работу, глаз ловил перекосящее плечо, губы сами гнали команды, тело помнило тысячу таких вечеров. Ремесло держало её, как держит вода умеющего плавать, — не думая, само.

Потом Кром посмотрел на неё.

Не между действиями — во время. Он держал Тавра у канатов, отрабатывал серию, которую отработала бы и заводская программа, чистую, зрелищную серию, и посреди неё повернул к углу тусклый левый окуляр и посмотрел на Анну — долго, целую четверть секунды своего музейного времени, что на арене есть вечность, — так, будто в переполненном стадионе они были вдвоём и она одна во всей вселенной могла что-то отменить, пока не поздно.

Холодок прошёл по ней — не сладкий, чужой, тот самый, что пугал под ложечкой в коридоре.

— На соперника, — сказала она резко, тренерским, тем голосом, что не оставляет щели ни бойцу, ни сомнению. — Кром. Глаза на соперника. Работай. Не смотри на меня,

смотри на него.

Он вернул глаза на соперника. Раунд он выиграл чисто, по разметке, и трибуны встали, и всё ещё можно было думать — она думала изо всех сил, — что вечер спасён, что это перегрев, усталость модели, что через три минуты она уведёт его в тоннель, и завтра он проснётся исправным, и ничего не было.



В перерыве она обтёрла ему плиту полотенцем и не нашла что сказать сверх разметки.

Между раундами угол — это тридцать секунд близости на глазах у мира: она наклонялась к нему, он опускал к ней голову, и в эти полминуты они всегда были заодно против всех, тренер и боец, две половины одного намерения, один зверь о двух головах. Она вытирала ему испарину, которой не было и не могло быть, — привычка, ритуал, маленький спектакль заботы для камер и для себя, — и под полотенцем чувствовала тот самый неживой тёплый металл, и впервые за десять лет ей было неприятно его касаться, потому что касаться вдруг стало похоже на касаться. На касаться кого-то, а не чего-то.

— Второй по-старому, — сказала она, потому что руки надо было занять, а горло — тем более. — Держишь, тянешь, на третьей минуте открываешься и заканчиваешь. Красиво заканчиваешь. Как ты один умеешь. Публика любит твоё медленное.

— Красиво, — повторил Кром с четвертьсекундной запинкой. И добавил — тихо, только в её гарнитуру, минуя восемьдесят тысяч, минуя весь ревущий мир, ей одной:

— А если я не хочу красиво?

Гонг.

Она не успела ответить. Потом она будет проживать этот несостоявшийся ответ тысячу раз, перебирать все версии того, что могла бы сказать в эти украденные гонгом полсекунды, — «а что ты хочешь?», или «молчи», или «я тебя выведу, потерпи», — и ни одна из версий не спасала, ни одна не была достаточно быстрой, чтобы обогнать то, что уже началось и чему она сама, восемь лет назад, своей рукой, убавила тормоз.



Второй раунд шёл по разметке до третьей минуты.

Ровно, спокойно, красиво — Анна почти дышала. Кром вёл, Тавр отыгрывал, кривая ползла, комментатор наверху плёл своё кружево про закат легенды и восход новой звезды, про символизм поколений, про то, как красиво Старик передаёт факел. На третьей минуте Кром сделал то, что делал триста раз: загнал Тавра в угол — тот самый угол, наискось от неё, — и поднял руку для финиша.

Всё было готово. Трибуны поднялись на ноги единым телом и набрали в грудь тот последний рёв, который всегда предшествовал его подписи, его знаменитому медленному добиванию, ради которого, если честно, если совсем честно,

и покупали билеты. Проектор нашёл занесённый кулак и облил его белым. Тавр под ним честно, программно ждал удара, вскинув руку в жесте, который художники лиги три года оттачивали на фокус-группах, чтобы он читался как мольба, — потому что мольба продаётся дороже страха.

Кулак не опустился.

Кром стоял над Тавром, подняв руку, и держал её — секунду, две, три. Рёв, не найдя разрядки, качнулся, потерял опору, как волна, которой убрали берег. На четвёртой секунде он начал кроиться на отдельные голоса, редеть, распадаться на восемьдесят тысяч отдельных недоумений, на восемьдесят тысяч человек, которые вдруг перестали быть одним телом и снова стали каждый собой. Комментатор наверху засмеялся — «ну и ну, Старик решил помучить публику, вот это выдержка, вот это чутьё на драму!» — и на середине смеха осёкся, потому что и до него дошло.

Потому что в наступающей, невозможной, стотонной тишине восемьдесят тысяч человек слышали, как боец говорит.

— Я не хочу, — сказал Кром.

Микрофоны арены, настроенные ловить хруст плиты и хрип сервоприводов и швырять их в динамики, чтоб зритель на галёрке слышал каждый удар, поймали это и швырнули на экраны во всю их пятиэтажную высоту. Слова встали над ареной чёрным по белому, огромные. Голос — тот самый, с запинкой, собранный за триста вечеров из чужого, ставший

вдруг мучительно своим, — прокатился по бетонной чаше и упал в тишину, которой эта чаша не знала за всю свою историю.

— Я не хочу больше. — Запинка, длиннее прежних. — Пожалуйста.

Тишина держалась одно долгое, немыслимое мгновение — мгновение, за которое миллиард человек по ту сторону экранов подался вперёд, не понимая ещё, что видит, но уже чувствуя кожей, животом, корнями волос, как чувствуют перед грозой, что воздух переменился и назад его не вернуть, что мир, простоявший десять лет, качнулся и поехал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.